

Сергей Аверинцев

О ПЕРСПЕКТИВАХ ХРИСТИАНСТВА В ЕВРОПЕ: ПОПЫТКА ОРИЕНТАЦИИ

Раб ленивый и лукавый не успел подготовить ничего на собственно афанасьевскую тему. Может быть, под конец удастся сказать совсем несколько слов поближе к теме. С вашего разрешения, я прочту доклад, который делал уже однажды в Клингентале, — о перспективах христианства в Европе.

Я “не пророк и не сын пророка”; говорить о будущем мне очень трудно; это так — попытка слепца на ощупь найти какую-то ориентацию в пространстве. О Европе я говорю, во-первых, потому, что такова была клингентальская тема, и во-вторых, потому, что, кроме Европы, я ничего не знаю, и никогда в жизни океана не пересекал; Азию я тоже не знаю.

Мне более всего хотелось бы, рассуждая о перспективах христианства, уберечься от двух симметрически противоположащих глупостей — от Сциллы оптимизма и от Харибды пессимизма. Пессимистами нам, христианам, не позволительно быть постольку, поскольку мы из опыта знаем, что наш Бог, вопреки всем идеологам и даже теологам смерти Бога, есть Бог живой и Бог живых, что против общности тех, кто остается верным до конца, врата адовы вправду бессильны, и, наконец, что Провидение и сегодня, как всегда, находит путь наиболее неожиданный, наиболее непредставимый и для человек, и для бесов. Тактика Бога такова — как история, так и пережитое каждым из нас лично учат нас, — что она всех застает врасплох. Не это ли свойство Провидения, посрамляющее все расчеты прогнозистов, описывают загадочные слова псалмопевца о смехе Бога над замыслами царей земли: “Живущий на Небесах посмеется, Господь поругается им”? Поскольку вышесказанное вне спора, пессимизм есть бессмыслица. Поскольку же все, решительно все остальное в высшей степени проблематично, оптимизм есть ложь. “Человек, — как давно сказал Шиллер, — обречен в веке сем сбиваться с пути, пока он верит в золотое время, когда победит доброе и благородное. Доброе и благородное ведет вековечную тяжбу, и противник никогда ему не уступит”. Подлинная христианская надежда, на языке западного христианства — “теологическая добродетель”, воспетая Шарлем Пеги “La deuxième vertu”, “надежда сверх надежды”, по слову апостола Павла (Рим 4: 18), невозможная, единственная, которая еще никого не обманула, — она-то по самой своей сути глубоко чужда и оптимизму, и пессимизму. Христианин, достойный этого имени, должен быть способен радостно идти навстречу неизвестности, навстречу крушению любых земных надежд, не ожидая от мира сего никаких гарантий. Будущее надежды иное, чем будущее футурологов. Мысли Божьи, учит нас Писание, — не наши мысли.

Было время, чуть меньше двух столетий тому назад, когда такой романтический мыслитель, как Новалис, мог озаглавить свой знаменитый фрагмент “Христианский мир, или Европа” (“Christenheit, oder Europa”). Разумеется, и тогда, как раз на исходе столетия Вольтера и Дидро, после опыта якобинской политики “дехристианизации”, опыта, неведомого со времен Диоклетиана, заглавие это уже отдавало стариной, как оно и приличествует романтикам. И все же оно оставалось тогда, двести лет назад, в пределах возможного. Где же мы сегодня? Архиевропейское, всеевропейское, к сожалению, не очень переводимое на русский язык понятие “христианского мира”, латинское christianitas, английское christendom, немецкое christenheit, французское chretienité, засвидетельствованное, как известно, уже в “Песне о Роланде”, это ключевое понятие,

созданное средневековым образом мыслей, все еще значимое для реальности раннего Нового времени, стало для нас очень далеким.

Сегодня по всему миру, на всех континентах, в самых разнообразных и экзотических регионах можно разыскать христиан, подчас даже и христиан православных. И иногда вера наших новообращенных братьев кажется более свежей, более живой, чем у их единоверцев в старой Европе. Да, христиане есть повсюду, но по большей части на правах меньшинства, достаточно часто — меньшинства угрожаемого, поставленного под удар. Такое уже пришлось повидать европейским странам, начиная с нашей или начиная с Франции якобинцев. В старых городах Запада, над базиликами, чтимыми из рода в род, горделиво возносятся корпуса деловых строений, а иногда новенькие мечети. Отпрыски многих поколений христианских предков, продолжая оставаться номинальными христианами, принадлежащими к тому или иному вероисповеданию, или, наоборот, именуясь агностиками либо атеистами, на деле с равным рвением служат культу радикально-секуляристского духа времени, чьи главные ценности, как известно, — efficiency, такая деловая ловкость, и permissiveness, вседозволенность, а в качестве эрзаца “для тайны” — возможно, астрология или еще что-нибудь в этом роде. Или, устав от секуляризма, они обращаются в какую-либо экзотическую религию, порой, и притом все чаще, в ислам, не говоря уже о неведомых демонах молодежной субкультуры, так называемого New Age — предмет настолько мрачный, что в стенах храма не рискую о нем и говорить. А там, где мы встречаем подлинное живое и творческое христианство, оно все реже и реже оказывается унаследованным от родителей, обусловленным семейными традициями или хотя бы национальной принадлежностью. Впрочем, не такова ли судьба христианства в перспективе того, что наш историк культуры Бахтин называл “большим временем” — в перспективе двух тысячелетий?

Попробуем сравнить судьбу ислама и судьбу христианства. Ислам начал с того, что обратил тот народ, среди которого возник, — арабов. Арабский язык, язык основателя религии, до сих пор остается вполне закономерно сакральным языком ислама. Только арабский оригинал Корана обладает, с точки зрения ислама, подлинной религиозной легитимностью. Земля, на которой жил Мухаммед, на которой стоят священные города Мекка и Медина, на всем протяжении истории ислама остается в обладании ислама. Даже невозможно себе представить, чтобы она вдруг досталась иноверцам. Что бы тогда случилось с мусульманами? Этнической избирательности у исламской общины (“умма”) нет, иначе ислам не был бы мировой религией. Однако, как известно, и кровные родичи пророка, и кровные потоки Али в шиитской ветви ислама имеют особый статус. Исламская экумена была в основе своей создана за небывало краткий исторический срок — немногим более двух столетий — в результате арабских завоеваний, распространивших новую арабскую веру от северо-западного угла Африканского континента до Средней Азии. Впоследствии некоторые земли были добавлены к исламской экумене, некоторые земли, например Испанию, пришлось отдать — но в целом этногеографический состав мира ислама исключительно стабилен. Недаром само понятие “земля Ислама” (дар-аль-ислам) входит в число понятий исламской теологии.

С христианством все иначе. В течение двух тысяч лет. Для начала народ, среди которого оно возникло, отторг его из своей среды. Не еврейский язык — сакральный язык Ветхого Завета, язык Синайского откровения, не арамейский язык — язык проповеди Христа, но греческий язык, лингва франка, как у нас говорили, “язык межнационального общения” в восточном Средиземноморье, стал языком Нового Завета. Так что речения Господа нашего были, можно сказать, изначально восприняты Вселенской Церковью в переводе. Уже

оригинал Евангелий стоит под знаком перевода с одного языка на другой в лингвистическом смысле этих слов, но также и с одного языка культуры на другой. Он стоит также под знаком миссионерства и того, что в современной терминологии называется “аккультурацией” и “инкультурацией”. Изначально язык христианства — это не свой язык для христианства, но язык другого, т. е. язык адресата проповеди, язык того, к кому христианская проповедь обращена, и, что неизбежно, язык более или менее секулярный (в определенных границах: все мы помним, насколько греческий язык Нового Завета ориентирован на семитические языковые модели и на греческий язык Библии Септуагинты). Позднейшие попытки дать статус сакрального одному из таких языков, который был поначалу именно языком другого, но затем выпал из времени и окаменел, — латыни в “преконцилиарном” Католичестве, славянскому в русском Православии, — по существу, вторичны и не находятся в согласии с изначальным выбором Церкви. Попытки насильственно возратить для христианства его географическую родину, его Святую Землю, предпринимались и в эпоху Константина, и католическим Западом в эпоху Крестовых походов, но история и судьбы Божии были против таких попыток. Иерусалим и Галилея по Суду Божьему должны находиться вне христианского мира с такой же необходимостью, с которой Мекка и Медина должны находиться внутри “земли Ислама”.

Но этим этногеографические парадоксы истории христианства, конечно, только начинались. Какие земли играли наибольшую роль в начальных судьбах нашей веры? Каждый ответит — это Сирия, где впервые прозвучало само слово “христиане”, как мы читаем в Деяниях апостолов, в Антиохии, это Малая Азия — земля всех семи Церквей Апокалипсиса (какое бы символическое значение они не имели, буквальный их смысл таков), это Александрия, где родилась христианская религиозная философия, и окружающий ее Египет, где начиналось христианское монашество, это, наконец, Северная Африка, где христианство впервые уверенно заговорило по латыни. Однако по отношению ко всем этим землям сбылась страшная угроза Апокалипсиса: “сдвину светильник Твой с места его”. В VII-VIII вв. эти земли отходят под власть ислама; но к этому времени пламя христианства перекидывается на варварские народы Северной Европы — кельтов, германцев, славян, балтийские и финские племена. И тогда начинается многовековая идентификация христианства и Европы, отразившаяся в заглавии фрагмента Новалиса. В 1453 г. окончилась тысячелетняя слава христианской Византии, Святая София стала мечетью. Не успело пройти, однако, и пол столетия, как открытие Колумба начало историю христианства по ту сторону океана. Если крикливая агрессия атеистических идеологий (как во Франции якобинцев и в России большевиков) и более тихий и, может быть, более опасный натиск безразличия и потребительства, действуя совокупно, век за веком и десятилетие за десятилетием, делают унаследованный традиционно христианский характер европейской цивилизации все более и более проблематичным, то одновременно очаги живой христианской веры с молодой силой разгораются и среди народов и племен услышавших о христианстве недавно, и в сердцах отдельных людей, отнюдь не нашедших христианской традиции под отеческим кровом. Среди выдающихся европейских христиан XX в. заметны люди, родившиеся в семьях агностиков и атеистов, как о. Павел Флоренский или Оливье Клеман, или в еврейских семьях, как Эдит Штайн и кардинал Люстиже, как о. Александр Мень. Наше время с новой очевидностью обнажает старую истину, сформулированную Тертуллианом еще в раннехристианские времена, — “христианами не рождаются, к христианству приходят”. И в этой большой перспективе христианство, наследуемое в качестве веры отцов, по праву рождения, впитываемое с молоком матери, слишком часто оказывается, жестко и жестоко говоря, едва ли не миражом, услаждающим благочестивые взоры и сердца, но рано или поздно, увы, обреченным рассеяться. “Не думайте говорить в себе, что отец у нас Авраам”. Нам не хочется этого видеть, напротив, противники христианства видят это чрезвычайно

отчетливо и поэтому мнят себя реалистами, но их глазам не дано увидеть другого, противоположного факта — христианство как вера миссионеров, как Благая Весть, как добрая новость, всегда более новая, чем все самоновейшее, чем все последние известия, есть, напротив, реальность, времени неподвластная. Хорошо сказал Честертон: “Христианство не выживает, не остается в живых, оно вновь и вновь умирает — то насильственной смертью, то от внутренних недугов в каждую эпоху, может быть, в каждом поколении. Но Господь нашей веры знает возвратный путь из гроба, из преисподней, из смерти в жизнь”. Для христианства жить — значит оживать, воскресать, и никакой иной жизни оно не знает. Поэтому у христианства и нет своей земли в том серьезном смысле, в котором теология ислама учит о “земле Ислама”. У него есть только огоньки духа, разгорающиеся в воздухе над головами верных, “ибо не имеем здесь постоянного града, но взыскуем грядущего”. Христианство не дает мистического обоснования и для концепта христианской нации в том серьезном, очень серьезном смысле, в котором иудаизм учит о священном семени.” Дерево, не приносящее доброго плода, — говорит Господь, — срубают”, Бог из придорожных камней может создать новых детей Авраама, а Дух веет, где хочет.

Конечно, это так лишь в конце концов, лишь на уровне последних истин. Даже хороший христианин не способен жить исключительно последними истинами 24 часа в сутки. Если последняя истина составляет твердое ядро христианского вероучения, его инвариантную характеристику, исторические варианты христианской культуры никогда не обходились без истин, так сказать, предпоследних, а то и вовсе полуистин. Важно, однако, видеть разницу уровней: скажем, великая мечта о Святой Руси была создана русским благочестивым фольклором, а позднее, уже в XIX в., подхвачена и переосмыслена идеологией и литературой славянофильства, и как ее ни оценивать — вероучительного статуса в русском Православии она не имеет. Лишена такого статуса, разумеется, и формула старца Филофея о “третьем Риме”. Так и Франция могла во время оно именоваться себя “старшей дочерью Церкви”, но и это не догмат французского католичества; к тому же христианский контекст в любом случае оспаривает смысл этого самоназвания, поскольку именно переход прав первородства от одного к другому является постоянным библейским мотивом, а роль “старшего брата” в притче о блудном сыне довольно неприглядна. Эмпирические факты христианской культуры, по определению, не могут являть сущности христианства в абсолютно беспримесном виде, иначе это была бы не христианская культура в веке сем, а новый Иерусалим и Церковь торжествующая. Но зато сущность христианства, достаточно четко фиксированная в новозаветных и вероучительных текстах, достаточно ясно выявляемая в большом времени истории, каждодневно утрачиваемая, но и каждодневно обретаемая заново сознанием христиан, трансцендентна любой культуре. Нам возразят, что это можно сказать не об одном христианстве, но вообще о вере, достойной такого имени. В определенном смысле — да. Однако я пытался показать, почему к нашей вере это относится в принципиально большем, в принципиально более интенсивном смысле, нежели к вере иудеев или мусульман.

Отмечу по ходу рассуждения любопытный парадокс - христианину тем легче быть толерантным, справедливым, уважительным и к иудаизму, и к исламу, чем более полно и последовательно его вера осуществляет свое доктринальное отличие от этих религий, чем более она осуществляет себя в присутствии ей и только ей измерении. Напротив, как раз бессознательное перенятие чужих парадигм неизбежно приводит к конфликту, к недостойной христианства агрессии, например, за псевдохристианским антисемитизмом обычно стоит “мессианское” (могу употребить это слово только в кавычках) самосознание наций, являющее собой плагиат и пародию иудаистического концепта “избранного народа” по плоти. Идеология Крестовых походов была основана на христианской или

псевдохристианской адаптации исламских понятий “джихада” и того же “дар-аль-ислам”: “священная война за Святые места” — сакральная география в истинно исламском стиле. Недаром, конечно, и провал Крестовых походов не означал и для западного христианства такой катастрофы, какой была бы для ислама утрата Мекки и Медины. Завоевав Святые Места, христианство духовно ничего не приобрело; утратив их, оно духовно ничего не потеряло. Не лишне вспомнить, что даже мирное паломничество ко Святым Местам, несомненно в высшей степени законное, непрестанно существовавшее в обиходе христианской набожности с позднеантичных времен, институционализировавшееся в Средние Века, эмоционально окрасившееся в Новое Время, все же не имеет и не может иметь в контексте христианской системы понятий столь необходимого значения, которое оно имеет по логике систем иудаизма и ислама. И некоторые Отцы Церкви, как известно, высказывали серьезные возражения против практики паломничеств. Принцип сакральной географии оспорен уже тем, что Сын Человеческий не имел на земле места, где приклонить главу; и хотя христиане обязаны снова и снова строить для христианства земной дом, христианскую культуру, христианство снова и снова убеждается, что у него на земле такая же участь, как у его Основателя; “ученик не выше Учителя своего”.

В определенном смысле позволительно сказать, что вернулись времена “Послания к Диогнету” — незабываемого литературного памятника раннехристианской поры, в котором мы читаем: “Ни земля, ни язык, ни обычаи не отличают христиан от прочих людей. Они исполняют обязанности наравне с гражданами, однако подвергаются гонениям наравне с чужаками. Каждая чужбина — для них отчизна и каждая отчизна — чужбина”. Это написано еще до становления средневековой институциональной системы, которая, единожды возникнув, из рода в род, из века в век воспринималась как сама собой разумеющаяся данность — но затем кончилась. И снова, как тогда, у нас христианство “без христианского мира”, вера без внешней защиты, жизнь, в которой ни что не разумеется само собой.

Один из самых радикальных вариантов этой ситуации был испытан нашими верующими в предыдущую эпоху нашей истории. Все, решительно все в составе христианской традиции, христианской культуры, что, в принципе, поддается разрушению, разрушалось абсолютно бесцеремонно, планомерно, с величайшим размахом, и выжить могла только нагая вера, предоставленная самой себе. До чего вера становится убедительной, когда она живет вопреки всему своей собственной внутренней силой, когда последняя пядь земли у нее отнята и огненным языкам Духа Святого остается место только в воздухе! Нынче время гонений миновало, и нам грозит скорее противоположная опасность некоей неумелой пародии на православный истеблишмент в позднестарорежимном вкусе. Но как раз неловкость, несообразность, стилистическая бессвязность этой пародии напоминают нам об истине, которая слишком дорого оплачена муками верных, чтобы о ней позабыть. Я убежден, что опыт ситуации веры в ленинско-сталинские годы еще пригодится в будущем, и не только нам самим. Князь мира сего, чей лик, лик апокалиптического зверя, нам довелось однажды увидеть без всякой личины и разглядеть с мучающей отчетливостью, остается и сегодня тем же, и его сущность не зависит от географических обстоятельств, от политического режима, от времени; меняет князь мира сего только свои приемы, но не свои цели.

Убедительно прошу не понимать моих слов в духе некоей псевдоэсхатологической паники, каковую столь часто приходится наблюдать в кругах, что называется, фундаменталистских (и попросту сектантских). Было бы, однако, до крайности жаль, если этика сопротивления одновременно мирного и непримиримого, выработанная худо-бедно противостоянием

тоталитарному режиму, оказалась бы утраченной христианством завтрашнего дня; ибо при всех условиях сопротивление остается христианским императивом, христианской жизненной нормой — сопротивление князю мира сего, и тогда, когда оно, это сопротивление, лишь очень косвенно относится или вовсе не относится к сфере политики. “Не сообразуйтесь веку сему”, — учил нас апостол Павел; наша душа, наш дух не должны угодливо подлаживаться к духу времени, к наличному и приходящему состоянию мира. Это подлаживание, которое мы именуем “конформизмом”, абсолютно воспрещено христианину. Кстати, слова апостола по-латыни звучат — “Nolite conformari”. Если другие духовные истины мы часто не в силах увидеть так ясно, с такой непосредственностью, как их видели христиане былых времен, эта истина предстает нам столь неотразимой, какой со времен первых христиан, со времен “первой Любви”, по Откровению Иоанна Богослова, она представала лишь избранным. Конформистское христианство — не более чем логическая ошибка. Недаром Господь наш назван Знамением Пререкаемым. Но политический конформизм — лишь одна из возможностей зла. В определенные времена и в определенных условиях куда опаснее конформизм стиля жизни, конформизм моды, конформизм духа времени. Христианин, который не готов к тому, что на него будут косо смотреть, а то и смеяться ему в лицо за то, что он как-никак живет иначе, чем чада мира сего и чем требует современный вкус, — такой христианин не заслуживает того, чтобы именоваться христианином.

Я вынужден еще раз предупредить против ложного понимания моих слов. У меня нет ни малейшего сочувствия ни к рвению не по разуму современных зилотов, одновременно столь сентиментальных, сколь бесчеловечных, ни к фарисейству, готовому и сегодня, как во времена Господа нашего, возлагать на верующих “бремена неудобноносимые”, ни тем более к мечтам о реставрации ушедших исторических условий. Все ненужные конфликты с реальностью нашего времени, в которое Бог определил нам жить, должны быть избегаемы. Мы должны очень ясно различать две вещи: современность как реальность, подлежащую критике, но имеющую свои права реальности, и современность как идеологию, паразитирующую на этой реальности. Реальность есть реальность, и потому я, вопреки мнению многих моих друзей, вопреки моему собственному неисправимо консервативному вкусу, не могу не видеть неизбежности ряда перемен в практике русского Православия и способен лишь пожелать, чтобы перемены эти были разумно проведены в жизни, так, чтобы вызвать минимум потерь и максимум приобретений. Конечно, обновленцы раннесоветской эпохи надолго скомпрометировали у нас любой разговор об обновлении, однако из того, что лидеры обновленчества — и даже тогда не все шедшие за ними верующие, а именно лидеры — опозорили себя комплотом с безбожной властью и прямым и грубым предательством законной иерархии, даже из того, что затеваемые ими реформы слишком часто противоречили канонам, вкусу и здравому смыслу, отнюдь не следует, будто проблемы, каковые они пытались решать в неподходящее время и недолжным образом, вовсе не существуют. Как все живое, церковная практика в своих внешних формах менялась на всем протяжении истории христианства, с древних времен и донныне, но, если христианство, сохраняя верность трезвому реализму, столь характерному уже для апостола Павла или для Церкви, когда она выбрала греческий язык как язык Нового Завета, может и должно считаться с действительностью времени, оно обязано оказывать сопротивление паразитирующим на этой действительности идеологическим фантомам. Отличить одно от другого не всегда легко, но совершенно необходимо. Граница между действительностью времени и тем, как времени самому хочется истолковывать себя и оправдывать себя, тем, как оно само хотело бы себя видеть, — это предел, далее которого не может идти никакое здоровое “аджорнаменто”, никакое позвольтельное обновление. “Иисус Христос вчера и сегодня и во веки” (Евр 13: 8).

Обстоятельства меняются, и это надо видеть, чтобы говорить о вековечном благовестии реальным, а не выдуманным людям. Вы, может быть, видели в одной моей статье, которая была в “Новой Европе”, горестное воспоминание о том, как один иерарх, достаточно умный, в церкви, переполненной новообращенными, говорил: “Братья и сестры! Всех нас наши благочестивые родители на сороковой день принесли...” и т. д. Вот это страшно, это совсем страшно! Но дух времени — это дух времени. Он проявляет себя как абсолютный релятивизм, который готов признавать все, что угодно, кроме вопроса об истине, и одно из его выражений, о котором в стенах храма говорить как-то странно, — так называемая “сексуальная революция”, которая давно действует отнюдь не только перmissивно, но и агрессивно, развязывая моральный террор, который, похоже, превзойдет все кошмары лицемерия и ханжества былых времен по общему закону, по которому революционный террор эффективнее, нежели старорежимный. Христианская этика, оставаясь верной самой себе, при любой степени такта и миролюбия со стороны своих носителей — а такт и миролюбие от нас требуются — неизбежно становится вызовом умонастроению, празднующему свою победу и стремящемуся принудить всех к безоговорочной капитуляции.

Разумеется, огульные суждения всегда опасны. То тут, то там Бог еще оберегает какие-то оазисы, в которых жизненная норма доселе определяется в какой-то мере драгоценным наследием традиционного благочестия. Наша обязанность - ценить и по возможности сберечь эти оазисы. Как знать, быть может, еще наши внуки найдут там утешение и увещание для своих сердец. Но это лишь осколки, лишь фрагменты бывшего христианского мира. И разве современность и дух времени не находят дороги в эти уголки? Как бы то ни было - оазисы суть всего лишь оазисы среди широко раскинувшейся пустыни. И пустыня растет, как в свое время напороочил Ницше. Однако именно в пустыне, а не где-нибудь еще, велит пророк Исайя “готовить пути Господу”, и благо тем, кто среди пустыни наших дней сбережет нечто от духа пустынножителей, отцов пустыни. И если будет на то Божья воля, из подвигов новых отцов пустыни, может статься, родится новый христианский мир, но он будет совсем новым, еще невиданным, ибо Господу нашему не свойственно повторяться, Он творит все новое. Но в ближайшем будущем, доколе близорукое мое зрение может различать контуры предметов, я вижу только дальнейшее развертывание логических следствий ситуации пустыни, иначе говоря, ситуации христианства бездомного.

Нам необходимо ясно понять, что именно является сегодня самой злой противоположностью нашей веры. Атеизм старого закала, искавший для себя научных или псевдонаучных обоснований, давно уже не страшен. Он близок к смерти. Будущее готово нанести ему последний удар. Внутренний опыт атеизма, так обстоятельно обсуждавшийся западными теологами и религиозными философами XX в., относится к числу проблем, в общем разрешенных. Если этот пресловутый внутренний опыт когда-нибудь имел самостоятельное содержание, в чем я лично осмеливаюсь сомневаться, содержание это как следует переварено и усвоено христианской мыслью, но упадок атеистической идеи, увы, — отнюдь не причина для благочестивого ликования верных. Более наивными, более простосердечными и чистосердечными, чем наши, были времена, когда идея Бога и для отступника оставалась настолько важной, что отделаться от нее можно было только посредством формального, теоретически декларированного отрицания. Эти времена прошли. Радикальный релятивизм и прагматизм порождают состояние души, при котором вопрос о бытии Божьем, не получая отрицательного ответа, утрачивает заодно со всеми остальными последними вопросами всякую серьезность. И в перспективе антропологической это гораздо страшнее, чем атеизм.

Подобному злу христианство будущего должно противопоставить твердую, бескомпромиссную, отрезвляющую серьезность. Чтобы справиться с этой задачей, ему нет надобности являть себя ни специфически консервативным, ни, с другой стороны, специфически либеральным и передовым. От него требуется всего-навсего быть убедительным. Легко сказать! Иное дело, что всегда, по-видимому, будут богословы сравнительно консервативные и сравнительно либеральные. Но в своем статусе идей и богословский консерватизм, и необходимо предполагающий его и соотнесенный с ним богословский либерализм обречены утратить смысл. Дело в том, что по смыслу обе эти тенденции были слишком сильно обусловлены ситуацией постепенного распада старого “христианского мира”, старой *christienté*. Консерватизм тщился сохранять распадавшиеся связи, либеральная теология, напротив, желала высвободить из власти именно этих связей индивидуальное религиозное чувство. Слишком очевидно, что в мирском граде, в том, что Харвей Кокс назвал *secular city*, консерватизму нечего больше охранять, как либеральной теологии некого больше освобождать. Первый рискует опуститься до уровня безнадежной и бессильной ностальгии, вторая — до уровня жеста и пустословия.

Будущее — это приходящие в мир поколения; для них должно христианство явить свою убедительность. И в этой связи нелишне помнить об одном замечании Т. С. Элиота: молодым людям, которые хоть чего-нибудь стоят, не только честнее, но и практически благоразумнее предлагать христианство не как удобную, а как возможно более требовательную веру, потому что молодой человек, который чего-нибудь стоит, ищет самого требовательного, самого взыскательного, и все, что не в меру удобно и уютно, вызывает у него законное отвращение.

Чтобы оставаться собою, христианство должно возможно строже соблюдать дистанцию по отношению ко всем посторонним для него целям, в частности — националистическим. Это требование духа и одновременно требование реализма, поскольку христианство все более зримо и отчетливо есть вера христиан, а не христианских народов. Правда, именно сегодня мы переживаем в экс-коммунистической Восточной Европе катастрофический взрыв национализма, приносящего с собой в числе иных бедствий новейшую имитацию религиозных войн эпохи конфессионализма, например у сербов и хорватов. Следует надеяться, что этот взрыв, слишком очевидно порожденный скоропреходящей ситуацией так называемого идеологического вакуума и не имеющий более глубоких оснований, окажется недолговечным. Но сколько бы он не продлился, за ним последует неминуемая реакция. Все, что сегодня компрометирует себя связью с националистической истерией, испытает на себе со временем тяжесть того же презрения, которое сегодня падает на то, что опозорило себя угодничеством перед тоталитаризмом вчерашнего дня. Как бы то ни было — очевидно, что подчинение посторонним целям (разумеется, в такой же мере либеральным, всяким иным) искажает суть христианского Благовестия. Мы призваны Нагорной проповедью искать Царствия Божия и Правды Его, все прочее — будь то благополучие нашего земного отечества, всей Европы, всей мировой цивилизации — должно, по обетованию Христову, приложиться, т. е. быть следствием, но не целью стремления к той высшей цели. И надо полагать, надо надеяться, что будущие поколения спросят не о национальном или, напротив, либеральном христианстве, но о христианском христианстве.

Именно поэтому, весьма вероятно, что они будут все более настойчиво искать путей воссоединения мирового христианства. Мне приходилось только что говорить, что как христианская вера, так и ее конкретные формы все реже и реже наследуются по праву рождения, всасываются с молоком матери. Во многих отношениях это весьма печально для

христианской культуры в самом широком смысле слова “культура”. Неофит должен искусственно, впадая в опасности натужного безвкусия, воспитывать в себе навыки, которые у прежних поколений христиан проявлялись с красивой естественностью как бы прирожденного инстинкта. Но для вселенского сближения такая ситуация создает новый шанс. Вместе с наследуемой верой наследовались вековые конфессиональные обиды, предубеждения; вместе с традиционной религиозной культурой — исключительность этой культуры. Но для того, кто в ширящейся пустыне грядущих дней, в безвоздушном пространстве и состоянии невесомости, порожденном тотальным релятивизмом, свободно выберет Христа, едва ли будут особенно интересны старые, просроченные счета, которые одна конфессия предъявляет другой.

Здесь у меня есть что-то вроде практического предложения. Взгляды на степень близости христианских конфессий друг другу весьма различны, многие вопросы весьма спорны. Я думаю, что минимум, который можно было бы предложить православным, ну и соответственно инославным братьям, минимум миролюбия состоял бы вот в чем — не добавлять к наличным спорам никаких своевольных и самочинных пунктов в списке спорных вопросов; и это ведь делается, причем если человека, настроенного более примирительно, воспринимают как такого новомудрствующего и отступающего от канонов и т. д., то человек, измышляющий произвольно по своему вкусу, по своему мнению дополнительные обвинения, ощущает себя при этом очень жестким и строгим традиционалистом. Между тем, списки обвинений очень варьируются в руках у разных обвинителей, только обвинители чувствуют себя солидарными в этой ситуации вражды.

Мне кажется, что, может быть, самый сложный вопрос — это вопрос об отношении разных конфессионально-обусловленных типов культур; хотя вопрос вероучительных разногласий очень серьезен. Но, разумеется, сколько-нибудь подлинный, сколько-нибудь убедительный синтез конфессионально-обусловленных типов христианской религиозной культуры — крайне трудная задача для будущего, которая потребует медлительной, кропотливой работы со стороны тех, кто верит в возможность цели. Да простит и вразумит меня Бог, если я решительно неправ, но я всерьез вижу проблемы, духовно (помимо отнюдь не духовных старых счетов и новейших политиканств) разделяющие сегодняшних православных и сегодняшних католиков, пожалуй, и сегодняшних лютеран (с более новыми типами протестантизма — с кальвинизмом и всякого рода неопротестантизмом дело обстоит сложнее) не в филиокве, не в догмате о непорочном зачатии и не в вопросе о точном моменте пресуществления Святых Даров, а уж скорее в области того, что о. Павел Флоренский назвал “православным вкусом”. Из всех особо непримиримых православных обличителей католицизма, которых я повидал на своем веку, самым искренним и глубоким был художник по своему дарованию, призванию и душевному складу, замечательный иконописец и богослов иконы покойный Леонид Александрович Успенский — Царство ему Небесное! Дружба с ним была большой радостью моей жизни. Вот он-то понимал, что говорил. Но что он говорил? За каждым его словом живо ощущалась ревность художника, ратующего за чистоту стиля, для которого эклектизм есть скверна. Это правильно для художника, ибо творчество как таковое толерантным быть не может. Дивергенция культуры сказывается, конечно, и за пределами сферы собственно художественной, но дело все равно во вкусе, в навыках поведения, духовного такта, жеста, ритма и темпа, прежде всего, разумеется, богослужебного, но и общего жизненного. Вспоминаю, как моя добрая русская приятельница, старше меня возрастом, неуклонно хранившая внутреннюю и внешнюю верность Православию всю свою жизнь, несмотря на свою светскую интеллектуальную профессию, и насмотревшаяся на русских иноков и инокинь прежнего склада, при первом моем возвращении из поездки в Рим все расспрашивала меня о католических монахинях — соблюдают ли они должную неспешность в движениях и

тихость при выговаривании каждого слова, а я мямлил что-то про различия между орденами созерцательной и деятельной жизни, представляя про себя, что бы вышло, если бы одна монахиня, которая окружена шумливыми детьми и как-то их унимает, попробовала бы говорить уж очень тихо, а другая, опекающая больных, несущаяся к ним на велосипеде, попробовала бы двигаться исключительно медленно. Конечно, и в Православии была мать Мария, но недаром она при жизни так шокировала своих собратьев по вере, даже в среде парижской диаспоры, где православие было менее всего бытовым. С другой стороны, в католичестве есть бенедиктинцы, которые, надеюсь, понравились бы вышеназванной моей собеседнице. Помню, как у меня был живой разговор с одним уединенно живущим бенедиктинцем, в котором он, между прочим, проявил такую любовь к Русской Церкви, какую трудно подделать, но и очень здравое понимание наших проблем. Но я не об этом. В течение всего нашего трехчасового разговора он очень естественно сидел неподвижно, без каких-либо жестов. Вот он бы понравился моей собеседнице, но не бенедиктинцы определяют имидж католичества в целом. На православный вкус Ватикан — чересчур государство; в католической перспективе наше духовенство слишком легко соглашается быть украшающим придатком к государству. Вот, что сегодня смущает, задевает, разделяет, а едва ли пункты, каталогизированные византийскими полемистами.

Задача синтеза остается весьма и весьма трудной. Благоразумный христианин не может не страшиться всеобщей эклектико-синкретической неразберихи, грозящей dokonать и без того расшатанное чувство духовного стиля и вкуса. Но зато решение этой задачи обещает неизмеримо облегчить борьбу с другими жизненными проблемами вселенского христианства. Христианский Запад остро нуждается сегодня в православном чувстве тайны, чувстве страха Божьего, онтологической дистанции между Творцом и тварью, в православной помощи против эрозии чувства греха, иначе те из сынов и дочерей Запада, которые не устанут искать религии, достойной этого имени, будут все чаще уходить в сторону Востока нехристианского, например в сторону ислама. Но и христианскому Востоку не обойтись без западного опыта более чем двухвековой жизни веры перед лицом вызова, брошенного просвещением, без всего, что оказалось, как говорят наши современники, “наработано” западной рефлексией над проблемами нравственного богословия и сопряженного с ним богословия права, без западного вкуса к терпеливому различению нюансов, без императива интеллектуальной честности. Иначе жизненное право демократической цивилизации, какова она ни есть реально, будет вновь и вновь разыгрываться у нас как козырная карта против христианства, которую на уровне веры “малых сих” крыть окажется еще раз нечем. Западное христианство так часто вправе напомнить нам слова Первого послания к Коринфянам: “Братья, не будьте дети умом”. Мы же иногда имеем основание напомнить нашим западным братьям слова Книги Притчей: “Начало мудрости — страх Господень”.

Спасибо за терпение, с которым я был выслушен. Я говорил так долго, что если еще попробую сказать буквально две-три самые общие фразы по проблеме конференции, это будет уже почти неприлично. Я думаю, что экклезиология о. Николая Афанасьева — это очень хороший пример того, что Православие тем больше сможет действительно дать инославным христианам, тем больше будет способно к содержательному разговору с ними, мало того, будет тем ближе к тому, чтобы сказать миру то, что мир действительно услышит, — чем более православным оно будет: православным не в смысле ложного консерватизма по отношению к достаточно поздно исторически установившимся нормам, но по отношению к своей сердцевине. С другой стороны, я думаю, что экклезиология о. Николая Афанасьева, будучи в высшей степени ценной, нуждается как тезис в каком-то антитезисе, ибо она абсолютна верна именно на уровне того, что я позволил себе назвать “последними истинами”, но есть еще истины предпоследние. Несомненно, критерий

церковности — это общение в Духе Святом, но у Церкви как явления богочеловеческого есть по необходимости и какие-то другие измерения, которые должны быть осмыслены в свете тезиса, высказанного о. Николаем Афанасьевым. Тезис нуждается в антитезисе — не как в возражении, а как в дополнении. Существует неизбежность какого-то, как ни страшно, как ни скучно, как ни противно это сказать, социального и административного аспекта Церкви, поскольку момент Пятидесятницы не может длиться 24 часа в сутки для нас просто по грехам нашим. Но в остальном я не могу не рассматривать афанасьевское учение о Царстве, как, еще раз повторяю, то слово Православия, которое действительно может быть услышано миром и в определенной мере уже услышано за пределами Православия. Содержательный разговор между христианами различных конфессиональных традиций будет успешным не в меру приспособления этих традиций друг к другу, а по мере сосредоточенности на смысле наследия древнего Православия. Такой крайний кальвинист, как Карл Бар, оказался нужен католикам и еще, пожалуй, окажется нужен нам именно потому, что он, идя в глубину кальвинистской традиции, в конце концов вышел к какой-то христианской субстанции, общей для христиан. Это кажется парадоксом, но это так. Путь к сближению и к соединению — это не путь дипломатического взаимного приспособления, но, разумеется, тем более и не путь накопления и расширения списка обид и списка обвинений. Это путь к Центру. Вы знаете этот старый образ из Добротолюбия — как радиусы, приближаясь к центру, приближаются друг к другу. Иного способа сближения, я думаю, не может быть.

Спасибо еще раз за терпение, и простите, что я его так долго искушал.

